

Лапсердак из лоскутов Фрагмент новой книги

Лоскут из файдешина,

решительно не пригодного для лапсердака,
разве что платочком в наружный карман вложить,
а лучше — во внутренний: и к сердцу поближе, и от глаза стороннего
сокрыто,
от насмешек и въедливых вопросов, только для себя, для души,
потому что — от маминого нарядного платья отрезал уголком
и сам неумело, как смог, обшил краешек с обтрепанными нитками,
чтобы не сыпались;
при этом поглаживал ткань шершавыми пальцами,
нежно, как мамину руку,
и каждое прикосновение сопровождалось
гулким ударом сердца, подпрыгивающего вверх, к кадыку,
трепещущего в гортани, отчего ему казалось,
что он сейчас умрет, уже почти умер,
но для чего-то пересчитывал рубчики на поверхности
плотного китайского шелка,
он это твердо запомнил с детства — китайского,
хотя что такое Китай, тогда по малограмотности своей еще не знал
и улыбался,
и смахивал слезы, непривычные, круто соленые,
вспоминая, как молодая мама прихорашивалась
перед старым овальным зеркалом с попорченной амальгамой
и треснутой рамой красного дерева,
косо висевшем на массивном железном костыле,
кем-то когда-то, в незапамятные времена,
вбитым в глухую стену большой прихожей —
в чем доме это было? в каком времени? было ли?..

Эля кружилась на одной ножке, как маленькая девочка, приподнима-
ла широкую юбку, тяжелыми складками спадающую от талии к подолу,
снова опускала ее и снова кружилась, и беззвучно смеялась ямочками на

щеках, сморщенными к переносице морщинками, длинными ресницами, уголками губ, даже плечи и руки смеялись, каждый палец.

Эля кружилась в большой прихожей перед старым овальным зеркалом с попорченной амальгамой и треснутой рамой красного дерева, висевшем на массивном железном костыле, кем-то когда-то, в незапамятные времена, вбитым в эту стену. Сколько она себя помнит, а помнит она себя с раннего-раннего детства, зеркало всегда висело косо, но его никто не поправлял, не перевешивал, будто был в этом какой-то скрытый смысл.

Впрочем, раньше она этого не замечала — висит себе зеркало и висит. Это сейчас любая мелкая деталь казалась каким-то знаком, требующим расшифровки. Никаких шифров она не знала, и потому пока только в уме все регистрировала, у нее не было привычки ничего записывать — слава богу, память пока ни разу не подвела ее.

Эля родилась, а зеркало уже висело, и первое свое отражение увидела она в зеркале, и лицо бабушки Фаи, которая держала ее на руках. Тыча пальцем то в зеркало, то в бабушку, она тогда засмеялась, бабушка потом всем рассказывала, но ей кажется, что и она это помнит. Правда, ей тогда все было смешно.

Справа от зеркала на стене всегда висел большой зонт-трость с ручкой из карельской березы, которым никто никогда на ее памяти не пользовался по назначению, только для развлечения. Зонт выстреливал почти так же громко, как духовое ружье, висевшее с другой стороны, и раскрывался большим куполом цвета молочного предутреннего тумана. Под ним можно было спрятаться вместе с бабушкой, дедушкой, мамой, папой, няней Маней, рыжей кошарой Басей, зеленоглазой с зеленым атласным бантом на шее, большой, мягкой, пушистой, как бабушкина пуховая подушка, на которую она укладывала свои распухшие ноги, и бабушкиной любимицей белоснежной болонкой Марой, старой, сварливой, подслеповатой, оглушительно твякующей на всех домочадцев.

— У нее склероз, — винилась за Мару бабушка, — никого не узнает, даже меня.

В подтверждение этих слов Мара принималась облаивать бабушку, бегая вокруг нее кругами, подпрыгивая то на задних, то на передних лапах.

— Так-то она еще не в плохой форме, — одобрительно покачивала головой бабушка Фая. — Вот только склероз.

Склероз старой болонки Мары — это, согласитесь, очень смешно.

Из дальнего угла прихожей наблюдала за всем происходящим виолончель темного матового дерева, почти черная, издали виолончель была по-

хожа на бабушку — тонкой талией и широкими округлыми бедрами. На виолончели никто никогда не играл, только, по давним преданиям, — какой-то дальний друг дома со стороны бабушки, что-то вроде несостоявшегося жениха ее двоюродной сестры Брони, кажется.

Звали его Зигфрид, за что виолончель навсегда получила неблагозвучное имя Зига, что тоже было поводом похохотать. Смычка не было, но влажное обтирание мягкой фланелевой тряпкой Зига имела ежедневно. Няня Маня выполняла этот ритуал с особым тщанием, выдавая тем самым и свое преклонение, и восхищение, и какое-то затаенное чувство к Зиге, ведь только под ее рукой Зига оживала — то протяжно, то коротко вздыхала, будто очнувшись от сна, то заходилась вибрирующим низким плачем, вызывающим ответные беспричинные слезы, то с пронзительной радостью устремлялась ввысь, и душа рвалась следом, неслась без страха и надежды на спасение...

Потом всегда, заморожено слушая виолончель, Эля вспоминала няню Маню, с затаенным дыханием обтирающую пыль с инструмента, и те неземные звуки, рожденные неловкой рукой няни.

Соло с тряпкой на виолончели, не станете же вы возражать, — тоже неплохой анекдот.

А Зигфрид играл виртуозно, это признавали все, кто слышал его игру, — наверное, он был гений и мог бы стать первой виолончелью земного шара, так высокопарно говорила о Зигфриде бабушка Фая, что, в общем-то, было не в ее манере. Больше о Зигфриде никто не говорил, потому что из всех, кого Эля знала, никто его никогда не видел, и тем более — не слышал, как он играет на виолончели. В том числе и бабушка Фая, между прочим.

Но Зига-то стояла в прихожей — это факт. И вздыхала, и плакала, и пела. Значит, Зигфрид был, и мог таки стать первой виолончелью земного шара, бабушка Фая врать не будет.

Но человек предполагает, а бог располагает, говорит народная мудрость. То есть хочет человек, мечтает, стремится к чему-то, все силы кладет и жизнь готов отдать за воплощение мечты, а все же богово расположение главнее. Выходит так?

Иначе говоря, Зигфрид предполагал стать именитым виолончелистом, жениться на Броне, двоюродной по матери сестре бабушки Фаи, девице не столько красивой, сколько с хорошими манерами, окончившей женскую гимназию, владеющей двумя иностранными языками, из семьи доб-

ропорядочной и с неплохим достатком, дед Моисей, отец Брониного отца Эли, а в домашнем обиходе — Ильи, владел в далекие дореволюционные времена мукомольным производством. Потом все его богатство мукой же и развеялось яростными ветрами революции, унеслось поземкой, заматающей все следы былой жизни.

Зигфрид тоже был хорошей партией для Брони: семья по всем показателям была под стать Брониной, плюс виолончель, внешность имел непримечательную, но приятную, — добрая улыбка, открытый взгляд темнокарих, почти черных матовых, в тон виолончели, глаз, длинные, тонкие, ломкие пальцы с припухлыми мягкими подушечками, уши великоваты и мочки длинные, но для мужчины это сущий пустяк, на который никто не обращает внимания. Кто-то, правда, обрисовал все эти подробности, иначе откуда бы они дошли до сегодняшнего дня, ведь фотографий Зигфрида ни у кого не было. И быть не могло.

Броня же замуж за него не вышла.

Возвращаясь к мелким деталям, которые стали для Эли знаками.

Зеркало в прихожей всегда висело косо. Но это даже не деталь — это непреложный факт, возможно, не требующий никакой трактовки.

А вот то, что Зига замолчала после смерти няни Мани — перестала и плакать, и петь, — заставляет как-то задуматься. Причем замолчала не сразу, первые несколько дней, что примечательно, — не семь и не девять, а восемь, по ночам по дому разносились ее стоны и всхлипы, протяжные, горестные. Это слышали все, не осмеливаясь произнести вслух, чтобы не давать повода для насмешек, при этом избегали смотреть друг на друга, что лишь подчеркивало уверенность в том, что Зига по ночам играла свою прощальную музыку.

В ночь на восьмой день Зига издала последний протяжный истошный всхлип. То есть струны иногда вздрагивали от неосторожного прикосновения, когда время от времени кому-то приходило в голову смахнуть пыль и паутину, расплзшуюся в том углу, к которому одиноко прижималась Зига. Но это было скорее похоже на скрип колес несмазанной телеги. Музыка умерла.

Умерла следом за бабушкой Фаей и страдающая склерозом болонка Мара, причем она-то как раз соблюла закон — семь дней, свернувшись клубочком, выла, лежа на пуховой бабушкиной подушке для ног, еду не принимала, воду не пила, выла все тише, тише и на седьмой день замолкла. Шиву отсидела одна, больше некому было соблюдать обычай предков.

Невольно напрашивается вопрос — может быть, не было у Мары никакого склероза?

Все же жизнь полна веселых неожиданностей, надо только уметь их распознать.

Вспоминается еще одна смешная история.

Эля одна дома — ни бабушки Фаи, ни склеротички Мары, ни няни Мани, ни даже рыжей зеленоглазой кошары Баси, которую няня повезла к доктору лечить от тяжелого воспаления легких. Эля не знала, что такое "легкие", тем более — отчего они могут тяжело воспалиться. Но не это занимало ее воображение.

Оставшись одна, она решила, наконец, осуществить свою мечту — померить бабушкино файдешиново платье. Может быть, у бабушки Фаи были платья и получше, все говорили, что она большая модница, и у нее была своя модистка, глухонемая подруга детства бабушка Сара. Может быть, были платья и получше, но это — влекло и манило, потому что файдешиново. Казалось, наденет она это платье, и все переменится, как по волшебству. Каких перемен Эля ждала в пять лет, когда все было прекрасно, и все были рядом — бабушка, няня, кошара, Мара, Зига? Каких?

О нет, не спрашивайте, она так хохотала, что слова не смогла бы произнести.

Хохотала, стоя перед зеркалом, бабушкино файдешиново, изумрудное с золотыми крапинками платье сползло с плеч и распласталось по полу, она с трудом удерживала его двумя руками, приподнималась на цыпочки, чтобы полюбоваться своим отражением в зеркале, но едва могла увидеть кончик вздернутого кверху носа с застывшими на нем капельками пота. И все же она решила покружиться, чтобы файдешин, вспорхнув с пола, волнами прокатился вокруг ног, как у бабушки во время медленного тура вальса, теперь уже только раз в году, в день рождения.

Кончилось все тем, что она окончательно запуталась в файдешине, упала, ударилась головой о кованный сундук, в котором бабушка хранила шляпки — свои, своей мамы, своей бабушки и даже двоюродной сестры Брони, несостоявшейся жены несостоявшегося гения Зигфрида. Упала и потеряла сознание. В общем, ничего смешного.

Хотя нет, это ведь не конец истории — это ее продолжение. Очнулась Эля в своей постели, в ногах молча лежала Мара, на подушке рядом косила на нее зеленым глазом кошара Бася, и непонятно было — жалеет она Элю или осуждает, почти вплотную к кровати была придвинута зингеров-

ская швейная машинка, бабушка Сара крутила ее ножной педалью, медленно протаскивая руками под иглой кусок изумрудного фидешина. И на столе аккуратной стопкой лежали фрагменты распоротого по швам бабушкиного фидешинового платья.

— Что ты делаешь, Сара? — Эля подскочила, со лба на пол упал пузырь со льдом, от волнения она даже начала заикаться: — Чт-то т-ты д-делаешь, С-Сара?!

Глухонемая Сара бровью не повела, продолжала шить, а бабушка Фая, сидевшая рядом, спокойно и тихо сказала:

— Шьет тебе платье из фидешина. Наденешь на Новый год.

— На еврейский?! — не удержалась Эля, потому что знала, что он всегда наступает раньше нееврейского, осталось всего чуть больше недели.

— Конечно, на еврейский, зачем ждать лишние три месяца...

— А ты, бабуся?

— Я его уже относила.

Бабушка Фая медленно провела рукой по ткани, как бы пересчитывая кончиками пальцев рубчики, словно точно знала их счет, словно с каждым из них связывала мимолетное, давно канувшее в небытие мгновение своей жизни. "Все проходит", — подумала, и непрошенная печаль прихлынула к повлажневшим глазам.

Глядя на бабушку, Эля всплеснула руками — какая неожиданная радость, подумала, и уже готова была расхохотаться, но почему-то не смогла, вместо этого из глаз брызнули слезы. Наверное, от сотрясения мозга. Иначе — отчего?

Так-то ведь смешно все получилось: тайком без спроса померила бабушкино платье, покружилась в нем, упала, а очнулась — и в новом фидешиновом платье прямо на еврейский Новый год угодила.

В трудные голодные военные годы держали в доме чужую виолончель в плотном коконе паутины, как в футляре, виолончель, на которой никто не играл и не собирался. Даже шляпки и капоры с атласными лентами и цветочными виньетками, с вуальками и перьями, с большими изогнутыми полями и совсем без полей бабушка Фая носила на толкучку и худо-бедно продавала, находились покупатели. Точнее сказать — менялы, готовые за мешочек муки, пшена или гороха, за несколько картофелин, луковиц или яиц, а то и настоящих яблок сорта белый налив приобрести головной убор, давным-давно вышедший из употребления, и уж во всяком случае, ни для чего не пригодный в конкретный текущий момент сурового военного времени.

А вот находились все-таки ценители прекрасной старины. Бабушка меняла не только головные уборы, но и разные безделушки, жившие в доме со стародавних времен, которые и она помнила от самого рождения. И зонт, кстати, ушел из дома тем же путем, и старинное духовое дедово ружье, бабушкиного деда. Его она долго готовила в путь — сняла со стены, сдула пыль, тщательно протерла тряпкой все деревянные части, пополировала металлические, проверила — не заряжено ли, произнесла, ни к кому не обращаясь:

— Оно, конечно, выстрелит в конце пьесы, но уже не для нас.

Затем завернула ружье в старое детское одеяльце, из разноцветных пестрых клинышков когда-то собранное Сарой для будущих внуков, которых не дождалась, и положила на сундук. Через несколько дней присела на краешек сундука, положила на колени запеленатое ружье, повздыхала о чем-то про себя, поднялась и сказала:

— Ну, доброго тебе пути, амен.

Вроде как к ружью и обращалась, больше не к кому.

Так постепенно и опустела прихожая — без зонта, без ружья, без сундука, его тоже забрали какие-то дядьки, только оставшиеся шляпки бабушка переложила в комод. А Зига затаилась в дальнем углу, ни звука не издавала, даже когда начались бомбежки, и все вокруг вздрагивало и ходило ходуном. Она как будто чего-то ждала.

Странно было бы так говорить о неодушевленном предмете, но Зига вряд ли строго подходила под такое определение — все же она отзывалась благозвучием на заботу и ласку няни Мани и, осиротев без нее, еще восемь дней играла свою прощальную музыку.

Смешно сказать, но Зига дождалась своего часа.

Это очень странная история. Бабушка Фая однажды увидела на толкучке мужчину неопределенного возраста, от сорока пяти до семидесяти, предлагавшего в обмен на какую-нибудь еду шляпку точь-в-точь Брониного фасона. Бабушка примерно месяц назад выменяла эту шляпку как раз на яблоки белый налив, из которых умудрилась сварить тянучку, похожую то ли на мед, то ли на засахаренное повидло, только не сладкую, и выдавала по ложечке к вечернему кипятку, заменяющему традиционный чай. Бабушка точно помнит, что не этот мужчина взял у нее Бронинову шляпку, это ведь у Сары склероз, не у нее.

Она принялась пристально разглядывать его и вскоре поняла, что он навязчиво напоминает ей кого-то: внешность ничем не примечательная,

но приятная — добрая, смущенная, будто виноватая улыбка, открытый взгляд темно-карих, почти черных матовых глаз, уши, пожалуй, немного великоваты для несоразмерно с туловищем маленькой головы и мочки, тонкие и длинные, дрожат и колышутся, как осиновы листья на ветру. Он сидел на деревянной колоде, Бронину шляпку примостил на коленях, а руки как-то неестественно висели вдоль туловища.

Бабушка Фая имеет здесь, в этом "зоосаде", свое место — на завалинке сторожки при входе на толкучку, очень удачное место, она его давно облюбовала и заняла, воспользовавшись всеобщей суматохой, когда кто-то у кого-то что-то украл, и все побежали — то ли ловить вора, то ли что-то прибрать к рукам под шумок. Что там как у кого получилось, бабушка не знает, а ей под шумок досталось как раз это самое лучшее место. Теперь она гордо, по-королевски восседает на завалинке, будто абонемент купила в оперу в ложу-бенуар на весь сезон, и никто не осмеливается посягнуть на ее право.

Она решительно поднялась и подошла почти вплотную к мужчине, на коленях которого лежала Бронина шляпка.

— Откуда у вас эта шляпка, сударь? — высокомерно и строго спросила она, демонстрируя свое чистейшее московское произношение.

— Азохен вэй, мадам, какое ваше дело? — устало и беззлобно ответил он. — Я вам чем-то обязан? Или, боже мой, у вас ко мне какие-то претензии?

Какой странный у него выговор, подумала бабушка Фая, абракадабра какая-то, смесь французского с нижегородским. И почему он заговорил с ней по-еврейски? Она уверена, что ничем не выдает своей принадлежности к евреям, тут, на толкучке, принимая во внимание ее товар, это было бы никак не кстати. Что-то еще мелькнуло у нее в голове, но тут она увидела его руки. Обрубки рук. На обеих не было кистей, на одной полностью, а на другой неловко болтались мизинец и безымянный, длинные, тонкие, ломкие два пальца.

— Зигфрид? — прошептала ошеломленная догадкой бабушка Фая и, не дожидаясь ответа, закивала головой: — Ну да, ну да, конечно, Зигфрид. Ах, боже мой, ой, вэй из мир, — она вдруг тоже невпопад заговорила по-еврейски. — Откуда ты? Почему не женился на Броне? Где твои руки, ой, вэй из мир! А Зига, ты не поверишь, Зига жива и ждет тебя. Собирайся, пошли.

Мужчина затравленно смотрел на бабушку Фаю и не произнес ни слова.

— Ну, что ты сидишь, что ты молчишь? Бери Бронину шляпку и иди за

мною. Сама судьба повелела мне вынести ее на толкучку. Иначе бы ты никогда не встретился с Зигой. Какое счастье! Нахес, просто нахес.

Мужчина молчал и не двигался с места.

Бабушка протянула руку за шляпкой, но он ловко перехватил ее двумя пальцами левой руки и спрятал за спину.

— Зачем тебе Бронина шляпка? Ты скоро увидишь свою Зигу. Пошли.

Он продолжал стоять, бабушка теряла терпение, но все-таки она оказалась сильнее. Ей удалось привести его в дом.

Это был, наверное, самый смешной эпизод из тех, что Эля запомнила с детства. Хотя бабушка Фая не разделяла ее веселья ни до, ни после.

В детстве притворно строго говорила:

— Смех без причины — признак сама знаешь, чего...

Это она в силу своей благовоспитанности не могла при ребенке произнести слово с ярко выраженной негативной окраской, почти неприличное, по ее разумению. А позже, уже не будучи столь щепетильной в выражениях, сокрушенно констатировала:

— Эля, ты так часто смеешься без всякого повода, что могут подумать нормальные люди? Что ты — дурочка?

Это был убийственный для бабушки Фаи аргумент, она чуть не плакала, покусывая губы. Эля тоже кусала губы, — чтобы не расхохотаться в ответ. Она не хотела обижать бабушку Фаю, потому что очень любила ее, со всеми ее смешными причудами и старомодными понятиями.

Зигфрид застыл на пороге прихожей, затравленно озираясь, попытался назад, прислонился спиной к двери и смотрел, смотрел во все глаза, ощупывая взглядом сантиметр за сантиметром стены, пол, потолок. Казалось, он силится что-то вспомнить.

Наконец он уткнулся в тот угол, где притаилась Зига, и надолго замер, прищурившись и сильно наморщив лоб. Все лицо стянулось к переносице и слегка перекосилось, как резиновая маска, надетая на руку. Эля хохотнула и зажала себе рот обеими ладошками — не поняла, а почувствовала, что ее смех в эту минуту будет совершенно неуместным.

Зигфрид вдруг сделал несколько шагов, медленных, неуверенных, как сомнамбула, снова остановился, потом рывком, шаркая ногами по выщербленному паркету, засеменял к Зиге. Бронину шляпку при этом двумя пальцами прижимал к груди.

Эля не отнимала ладоней ото рта, потому что смех душил ее, — так

неестественно комичен был Зигфрид, как клоун, которого она видела один раз до войны в цирке. Даже еще смешнее. А у бабушки Фаи по лицу текли слезы. Эля видела это второй раз в жизни, и что особо удивительно — склеротичка Мара, распластавшись у ног бабушки Фаи, лежала, как неживая, — не только не лаяла, но и не двигалась.

Эля опустила руки, прижала их к бокам — почему-то это называлось "по швам", няня Маня научила. Смех тоненькой струйкой вылетел изо рта, как теплый воздух на морозе, когда пол-лица закутывают теплым шарфом, чтобы не застудить горло.

Какое-то оцепенение овладело всеми домочадцами, будто этот Зигфрид — гипнотизер, колдун, волшебник.

Их, правда, всего-то было четверо: кошара Бася, старая болонка Мара, бабушка Фая и Эля. Няня Маня уже умерла, дедушка тоже умер, еще до войны. До войны исчезли мама и папа, за ними приехали какие-то военные, забрали из дома книги, папины тетради, какие-то вещи. Эля плохо видела, потому что бабушка Фая, держа на руках заходящуюся в лае Мару, одновременно прикрывала собой Элину кровать. Сначала увезли папу, потом маму, и больше она их не видела. Все происходило ночью, и какое-то время Эля думала, что ей приснился страшный сон, он потом много-много раз повторялся и повторялся. Она слышала приглушенные голоса, оглушительный лай Мары, бабушкино отчаянное:

— Замолчи, Мара, замолчи!

И чье-то злобное:

— Заткни собаке глотку, старуха, или я ей шею сверну, нет сил терпеть.

Бабушка сунула Мару к Эле под одеяло, и та замолчала, словно почувствовала нешуточную угрозу. Эле тоже вдруг сделалось не по себе, хотя только что все выглядело очень смешно — и то, что бабушка Фая засунула Мару с головой к ней под одеяло, а сама стояла, прижавшись попой к Элиной кровати, и юбку с двух сторон руками раздвинула, как будто собиралась сделать манерное приседание, и то, что ночью в дом пришли гости в фуражках и красивых формах с погонами. Но мама не ставила на стол чашки, а папа не готовил самовар к чаепитию. Она их вообще не видела из-за бабушкиной юбки, только слышала, как два раза с небольшим перерывом громко хлопнула входная дверь, и бабушкина спина содрогнулась, как от удара.

Эля не поняла, что произошло, но смеяться расхотелось.

Эля долго ждала маму и папу и бабушку ни о чем не спрашивала, только на день рождения не выдержала:

— Мамочка и папочка придут сегодня ко мне?

Бабушка Фая прямо у нее на глазах превратилась в старую старуху, и по лицу ее потекли слезы. Эля испугалась и умоляюще прошептала:

— Нет, бабусечка, дорогая, родненькая, не надо, не говори ничего.

Бабушка Фая мотала головой из стороны в сторону:

— Они уехали далеко и надолго, очень далеко и очень надолго.

Она прижала к себе Элю, продолжала мотать головой, и слезы капали с подбородка на грудь и на Элину макушку. Она не выдержала, вырвалась, забилась в дальний угол прихожей, чтобы там поплакать наедине, но глаза были сухие и горячие, в горле пересохло, и она начала громко икать, содрогаясь всем телом. Бабушка Фая с трудом отпила ее теплым чаем, качала на руках, как маленькую, и только когда она уснула, уложила в постель.

Обычно она так икала от смеха.

Когда Зигфрид впервые появился в их доме, Эля, сама не понимает, почему, вспомнила ту страшную ночь, свои кошмары и видения, и Марино учащенное жаркое дыхание под одеялом, и ее шершавый язык, облизывающий ее ноги. Было щекотно и почему-то жалко бедную Мару.

Сейчас Мара тоже молчала, хотя ее никто не трогал.

Вечером Зигфрид в дедушкиных брюках и рубашке с опущенными манжетами сидел в столовой на диване, прижимал к себе коленями начищенную до ослепительной чистоты Зигу и все смотрел по сторонам, все вертел головой, будто искал что-то или силился вспомнить.

— Ничего не помню, нет, простите, мадам, — смущенно и тихо повторя, натываясь на бабушкин вопрошающий взгляд. — Не помню. Контузия у меня сильная. Память не восстанавливается. Я и дом свой не нашел, из эшелона на какой-то станции вышел, когда в тыл везли, и потерялся. Зачем выходил — не помню. И имя-фамилию свои не помню.

Бабушка Фая долго горестно молчала, потом спросила тихо:

— А Зигу вспомнил?

По лицу Зигфрида скользнула короткая улыбка, он засмутился еще сильнее, осторожно, едва касаясь, погладил Зигу по талии и бедрам, прислонился лбом к деке. Что-то привычное угадывалось в этих движениях — Зига явно была не чужая ему. Только до струн не дотрагивался, избегал, провел мякишем верхней фаланги мизинца сверху до низу, едва не прикасаясь, не больше миллиметра зазор, но струны не задел.

А Эле показалось, что Зига тихонечко запела, отзываясь на его движе-

ния, давно никто не прикасался к ней, не обихаживал, слов ласковых не говорил, как няня Маня:

— Раскрасавица ты моя, — мурлыкала нежно и почтительно, — краше тебя никого не знаю, а музыку твою бог тебе посылает на крылах херувимов, ангельская музыка, небесная, Зига моя благолепная.

Няня Маня любила такие словечки. И Зигу любила, как живое существо, сильнее, чем кошару Басю и старую Мару, а иногда Эле казалось, что даже сильнее, чем ее, Элю. Во всяком случае, на Зигу няня Маня никогда не сердилась, не выговаривала ей и никогда не ставила в наказание в угол. Зига просто стояла в углу, это было ее местожительство.

В общем, смешно это или не смешно, решайте сами, но Зигфрид и Зига, без сомнения, узнали друг друга.

Это было видно по всему. Бабушка Фая, разумеется, тоже это поняла. Поэтому уже настойчивее повторила свой вопрос:

— Узнал свою Зигу? Вижу, что узнал. Сыграй.

Тут она смущенно запнулась, посмотрела исподволь на обрубки его рук, и чтобы как-то исправить неловкость, поспешно сказала:

— Ой, что это я, право, смычка-то у нас нет. И никогда не было. Может, ты с собой увез, когда поехал к родителям договариваться о свадьбе с Броней, — тут она строго посмотрела на него в упор: — И куда ты подевался после этого?

Зигфрид ничего не ответил, приладил полочнее Зигу, прошелся по струнам длинным ногтем левой двупалой руки — и полилась музыка несказанной красоты и силы. Со лба Зигфрида на лицо капали крупные капли пота, подбородок дрожал, мочки ушей вздрагивали, глаза были закрыты, а губы шевелились, будто молитву говорили. Смотреть на него было неприятно. Но Зига пела под его искромсанными руками музыку ангельскую, благолепную, — права была няня Маня, которая ни разу в жизни не слышала игру настоящего мастера на виолончели.

Зигфрид остался у них навсегда. Как иначе могла поступить бабушка Фая? Она его нашла на толкучке, буквально силком притащила в дом, толкнула Зигу в его объятия, а в изголовье диванчика, на котором он пристроился в прикухонной комнате покойной няни Мани, повесила на гвоздик Бронину шляпку, которую он не хотел выпустить из рук. Хотя никакой достоверной связи между Зигфридом, Броней и ее шляпкой бабушке установить так и не удалось. Терпеливо изо дня в день она показывала

Зигфриду семейные альбомы с фотографиями всей семьи и отдельно Броня в юности и в те годы, когда произошел сговор о ее свадьбе с Зигфридом, причем на одной фотографии, правда, не очень хорошего качества, Броня была как раз в этой шляпке.

— Узнаешь? — въедливо спрашивала бабушка Фая, тыча пальцем прямо в Бронину переносицу. — Узнаешь?

Зигфрид любил смотреть альбомы, подолгу разглядывал каждую фотокарточку и спрашивал — это кто? а это кто? Вскоре он всех запомнил и сам, без бабушкиного вмешательства, открывая ту или иную страницу альбома, безошибочно называл: Соня, Изя, Фаня, Броня, Моисей Залманович, Бронин дедушка, Эль Моисеевич, Бронин папа. При этом он радостно улыбался, и бабушка Фая думала, что в его памяти, наконец, наступило просветление.

— Ну, наконец-то! — восклицала она со вздохом облегчения.

А Зигфрид воздевал кверху свой единственный мизинец и с легким придыханием говорил благоговейно:

— Эль — значит бог.

Нет, бабушке Фае так и не удалось ничего добиться от Зигфрида. И главной загадкой осталась Бронина шляпка, — почему он вцепился в нее мертвой хваткой, зачем выменял на толкучке, а примерно через месяц снова принес туда же, чтобы поменять в обратном направлении, что, может быть, ему и удалось бы, не появись там в тот же день бабушка Фая. Ах, как бы все сложилось иначе, страшно подумать. Что было бы с бедным Зигфридом? Что было бы с ними со всеми, если бы он не вернул в их дом музыку?

Неоспоримо было одно — в прежней, довоенной жизни Зигфрид был первоклассным виолончелистом, если бы не война, кто знает, может, он и стал бы первой виолончелью земного шара, как говаривала бабушка Фая. Но это уже из области несбыточных сослагательных форм, — что об одном Зигфриде, что о другом, если предположить, что их было двое. Бывают в жизни совпадения, даже такие странные.

В жизни всякое бывает.

Если бы жива была Броня, легко можно было бы предъявить ей Зигфрида для опознания. Но она погибла в Бабьем Яре вместе со своими старыми родителями, к которым приехала погостить летом на недельку-другую, такую недалёковидность проявили умудренные жизнью старики, немало повидавшие на своем веку, — звали дочку в гости прямо в самое

пекло. По предварительным-то планам Броня собиралась в Ташкент к дочке своей Лийке, которая замуж вышла в такую даль за бухарского еврея Яшку Мушеева. С виду — узбек и узбек, а по документам — не подкопаешься: чистый еврей по всем линиям. Собиралась, да не собралась — уж больно далеко ехать, а ее в поезде укачивало до рвоты. Подумали-подумали и все перерешили: Броня съездит ненадолго к своим родителям, Лийка с сыном — в Шепетовку к родителям мужа, который погиб на взрывных работах в карьере как раз в начале сорок первого года, погорюют вместе, мальчонка козье молочко попьет, а на обратном пути в Ташкент через Москву проездом к Броне заедут. Все хорошо сходилось, на том и порешили — разъехались в разные стороны. Не проявили дальновидности, роковое решение приняли. И чем все закончилось — известно.

А без Брони и ее родителей у Зигфрида было абсолютное алиби, не подкопаешься. На том расследование и закончили. Нет аргументов за, нет аргументов против, значит, можно считать, что их нет вообще. Аргументов нет, а Зигфрид есть, и Зига поет свою волшебную музыку, и Фрид, сыночек Эли, родившийся, когда ей едва исполнилось восемнадцать, с ранних лет стал проявлять к Зиге повышенное любопытство, в чем потворствовали ему все. Значит, выбор сделан правильный, и может, еще появится в семье лучший виолончелист всего земного шара.

Что ж, надежда умирает последней.

Бабушка Фая говорила, что Фрид родился от непорочного зачатия.

Это, пожалуй, последняя смешная история в жизни Эли. Ей вообще все реже и реже хотелось смеяться, а почему — не могла объяснить.

Фрид родился внезапно, то есть она его выносила девять месяцев, как природой положено, но ничего подобного не ждала и не понимала, откуда зародилась в ней новая жизнь, как попал туда этот мальчик, похожий, хотя это может показаться бредом чистой воды, на Зигфрида: внешности малоприметной, но приятной, с черными матовыми глазами. Она была домашняя девочка, бабушкина внучка, и один лишь раз всего сходила на вечеринку к соседке Лорке, на день рождения. А там незнакомые парни и девушки, все веселятся как-то нарочито громко, натужно, развязно. Эле сразу захотелось уйти, но ее почти силой усадили за стол и напоили Советским шампанским, которое она раньше никогда не пробовала, и оттого, наверное, опьянела до полного беспамьятства: ни что там делала так долго, потому что домой явилась за полночь, ни кто довел ее до дома, потому что она не стояла на ногах, буквально на коленках вползла в квартиру, — не

помнила. И хохотала так, что бабушка Фая несколько раз ударила ее по щекам, чтобы прекратить истерику. А это была истерика, констатировала бабушка, уж кто-кто, а она сразу поняла, что этот безумный хохот не имеет ничего общего с обычным Элиным дурашливым детским смехом. И кроме того, Эля не икала, симптом — стопроцентный.

Отца Фрида они даже не пытались найти.

Жили, стараясь не нарушать прежний уклад: бабушка Фая и Эля, Зигфрид и Фрид, кошара Бася, болонка Мара и Зига. Фрид был отличником в школе, к всеобщему удовольствию брал уроки игры на виолончели, при этом Зигфрид неотлучно был рядом, а бабушка Фая и Эля ставили стулья поближе, сидели, как в первом ряду партгера, слушали, затаив дыхание. И мечтали — известно, о чем. Ничто не сулило глубоких перемен.

Смерть бабушки Фаи стала ударом для всех.

Перед смертью бабушка, сознание которой уже спуталось настолько, что она никого и ничего не узнавала, кроме своей любимицы старой склеротички Мары, вдруг совершенно отчетливо сказала:

— Ружье все-таки выстрелило, я в этом была уверена.

Что она имела в виду?

Пока бабушка Фая не умерла, даже когда у нее началась агония, и она уже, скорей всего, ничего не слышала, старый Зигфрид днем и ночью, сидя возле ее постели, непрерывно играл на виолончели, после чего у него омертвел мизинец.

После смерти бабушки Фаи Зигу поставили в угол прихожей, Зигфрид почти не выходил из бывшей комнаты няни Мани, только по нужде и чаю попить. Фрид неожиданно уехал в Израиль, на Землю Обетованную, очень звал Элю, чуть не на коленях перед ней стоял. Но она проявила несвойственную ей твердость.

— Дом нельзя бросить на произвол судьбы, — сказала тихо. — Зигфрид, Зига, кошара и я, мы останемся здесь. А ты езжай, сынок, живи по своему усмотрению.

Простились нежно, навсегда.

Кошара Бася не находила себе места, бегала по всей квартире, во все углы тыкалась мордой и смотрела на Элю пронзительными зелеными глазами, будто спросить хотела — где они? Не дождавшись ответа, запрыгнула на бабушкину подушку для ног и затихала ненадолго.

Эля первое время, когда не стало бабушки Фаи, по вечерам, сама не знает, для чего, надевала файдешинову блузу, перешитую из знаменитого платья, и сидя на диване, поглаживала рукой ткань, как бы пересчитывая кончиками пальцев рубчики, словно точно знала их счет, словно с каждым из них связывала мимолетное, давно канувшее в небытие мгновение своей жизни.

"Все проходит", — подумала когда-то бабушка Фая, перебирая пальцами рубчики ткани, и непрошенная печаль прихлынула к повлажневшим глазам.

"Все проходит", — думала Эля. Она бродила по опустевшей квартире, шаркая ногами по выщербленному паркету, — ни зонта-трости, ни духового ружья, ни кованого сундука, набитого шляпками, ни, кстати, Брониной шляпки на стене бывшей няни Маниной комнатки при кухне, ни Зигфрида, ни кошары Баси — никого.

Только косо висело в прихожей зеркало с попорченной амальгамой, да в дальнем углу, едва заметная в темноте, стояла старая виолончель.

В чьем доме это все было? в каком времени? было ли?

Есть одно лишь материальное свидетельство — кусочек от маминой файдешиновой блузы, перешитой из бабушкиного платья. Вполне сохранный кусочек. Хорошую мануфактуру производили китайцы.

Прочнее памяти.

Москва

